

Взвесим слова.

«Идентичность» — заглавие. Тихое, понятное. Особенно, если растолковать его по-русски.

Но предварительное, рабочее название! В нём что-то вызывающее, демонстративное, провокационное. «Еврей»!

В годы моей юности (послевоенные сталинские годы) этого слова старались избегать. Ходила такая полушутка: антисемит — это нееврей, произносящий громко слово «еврей». Власть избегала этого слова, потому что антисемитизм власти был негласным (черта оседлости гласно отменена, процентная норма негласно сохраняется). Интеллигенция тоже избегала — чтобы не запачкаться в какой-нибудь невольной гадости.

Но вот всё переменилось («вот» — это четверть века нашей истории), и еврейская тема гроыхает и полыхает во всех жанрах. От развлекательного стихка до серьёзного романа.

Серьёзный роман написал Леонид Подольский.

Полновесный, на полтысячи страниц том, полный сюжетов, гипотез, версий и контрверсий, фактов, предположений, ссылок...

Тьма биографий. Тучи сведений. Энциклопедический замах. Галерея образов, иные из которых восходят к гоголевской традиции.

Я хотел бы обратить на это внимание: ссылки и справки есть почти на всех страницах; по общему объёму эти сведения приближаются к доброй половине всего текста книги и воспринимаются как своеобразная энциклопедия...

Энциклопедия еврейско-русских контактов — со времён древнейших до времён советских и постсоветских.

Бездна фактуры!

Как всякая бездна, она пахнет безграничем, иногда похожим на артистичный умысел. Всё словно перемешивается и блекнет в тумане. Царит над этим энциклопедическим Левиафаном такое чувство, что фактуру выверить в принципе невозможно. И что ещё важнее — вряд ли её стоит выверять, настолько она утоплена в давно прошедшем времени и фактически уведена в небытие.

Ну, в самом деле, кто теперь, несколько тысяч лет спустя, вспомнит Амана... персидского придворного, ненавидевшего евреев до такой степени, что

уговорил царя их уничтожить... План сорвался. Но откуда такая ненависть? Оттого, что еврею Мордехаю разрешили не падать ниц перед царём? Не только. Здесь заключён отсыл к библии, ещё почти на тысячу лет назад, к истории противостояния евреев и амалекитян. Злой Аман — потомок амалекитянского царя Агага, умерщвлённого пророком Самуилом...

Вряд ли нынешний читатель, поверхностно знающий Библию, да и древнюю историю вообще, надолго сохранит подобные эпизоды в памяти. Впрочем, роман Подольского совсем не об этом. Не об Амани и не об Агаге. Это современный роман — семейная, родовая сага и одновременно история народа — роман, погружённый в историю, со множеством исторических деталей.

Иной раз эти детали поразительно интересны.

Русские специалисты по происхождению Петра Великого не пропустят того, откуда взялись на Руси «Нарышки» и что означало это прозвище, которое Иван Третий дал караиму Мордехаю, приехавшему в Москву служить из Крыма («Нарыш» означало «Храбрец»).

Увы, и эта Нарышь вряд ли надолго удержится в памяти читателя. Затягиваются пеленой события куда более близкие и болезненные. Например, «дело врачей», ставшее сигналом к антисемитской кампании середины прошлого века. Кто там инициатор? Берия (чтобы отвлечь власть от «Мингрельского дела», направленного против него)? Маленков (без которого такое дело вряд ли могло обойтись)? Сам Сталин? Но что заставило Сталина раскрутить маховик этого дикого, средневекового по существу, дела? Старческое помутнение разума, страх, плохо объяснимая злоба? Или какой-то дьявольский расчёт?

Во всех этих хитростях и сам Костырченко, великий архивист, до конца не разберётся... И люди, оравшие на площадях, что евреев надо сослать в Сибирь, не очень вникали в «дело» — ведь не их же собирались сослать, а каких-то там «врачей»... Берия прекратил эту кампанию, как только Сталин умер — и кануло «дело» с подробностями в беспросветную тьму истории.

А там и Берия канул.

Подольский оставляет многие подробности в сносках — для любителей истории. Впрочем, не только в сносках. История для него — фон, живая и мёртвая вода, эмбриональная среда, в которой формируются личности, характеры, менталитет. У Подольского человек всегда не сам по себе, его герои несут сильный отпечаток общества, в котором живут, времени. Подольский — писатель социальный. Его одинаково интересует и история отдельных людей, и история народов. Недаром он замечает: «История народов очень похожа на

жизнь отдельных людей, и так же, как жизнь людей, она имеет свое начало и свой конец. Как кровь и гены перетекают из одного рода в другой, так же и народы перетекают из одного в другой. Так что в конце концов остаются только прежние названия, и ещё, может быть, память, или что-то неуловимое — душа, неясные предания, культура...».

Столь же скрупулёзно, со знанием дела и юмором, прослеживает автор смену вождей. Вожди охарактеризованы находчиво и точно. Лучшее всех Михаил Горбачёв: он «пытался преодолеть пропасть мелкими шажками».

А надо было — отчаянным прыжком?

Тогда вопрос: откуда у нас эта вечная пропасть? И неизбежность решаемых-нерешаемых проблем? И их забвение? Что такое Синай? А кто его знает... Вроде бы тысячи лет назад по этому Синаю евреи бежали из Египта, и море то ли расступилось, то ли нет. И ещё чего-то там на Синае было недавно... С теми же евреями и Египтом...

Историю без конца пишем заново. Никто уже не помнит, что было на самом деле. Кто были Рюрик и Синеус. Существовал ли Трувор? Кто такие Аскольд и Дир? «Все скрыто во тьме истории», — напоминает Подольский. И «всё это не так уж важно». «Память о прошлом неумолимо исчезает».

Это — наша русская память.

А еврейская? Народ Книги, с самой древней историей? Они, как сказал бы Чингиз Айтматов, тоже «манкурты»?

«Русские евреи — ненастоящие евреи», — говорит автор романа устами одного из героев.

А настоящие?

А «настоящие» в перечень черт, делающих евреев настоящими, вставили (во времена БУНДа) такой признак:

«Там, где мы живём, там и наша страна».

А если «мы живём» по всему миру? Если по всему миру прогнала нас история? Что мы приобрели, что потеряли?

Свою страну — на тысячи лет — потеряли.

А приобрели... «костры инквизиции, изгнание из Англии, из Франции, из Испании...». Прочитую перечень Подольского с некоторыми сокращениями ради экономии места: «И Хмельнитчина, и Уманская резня, и Кишинёвский погром — да разве один Кишинёвский? — и дело Бейлиса, и холокост, и «дело врачей», и расстрелянный Антифашистский Комитет... Это история народа...». Расплата за всемирную роль.

Можно отменить эту историю?

Нельзя. Призабыть — можно. Чтобы вытерпеть.

А если представить себе еврейство вне его всемирного скитания, если вернуться туда, где это еврейство чудом сохранилось в неискажённом виде? Герой Подольского испытывает определённое потрясение, посетив (в первый раз) землю пращуров:

«Экзотическое средневековье шумит, кричит, двигаясь словно в огромном муравейнике... Столбы с цепями, которыми перегораживают улицы по субботам, чтобы в квартал не заехал кто-нибудь чужой. В субботу они скорее умрут, чем пропустят сюда скорую помощь... На таком фанатизме и держалось еврейство две тысячи лет...».

Преодолевая изумление, герой романа выдерживает встречу с древним народом.

Роман — весь — цепочка таких вот встреч, иногда до боли трогательных, но чаще полных невыносимости: какая-то сила, несмотря ни на что, тянет к предкам — эту тягу ощущает главный герой романа, имеющий русский паспорт и ощущающий... какой-то свинцово-несдвигаемый слой своей души, из неизмеримой глубины взывающий к праотцам.

И тяга эта — неотделима от той всемирной доли, которой наградила евреев судьба.

Нелёгко жребий: «Вести весь мир, осуществляя волю Единого Бога, радеющего всему человечеству».

Оценили масштаб? Место в истории — уникальное: и по значимости, и по ответственности.

«История древнего мира — это история противоборства греческой культуры и еврейской духовности. Не только противоборства, но и — взаимопроникновения... И евреи, и греки, каждый по-своему, передали эстафету от античности к средневековью, когда римский мир рухнул...».

Только римский мир рухнул? — вырывается у меня. — А из пришедших ему на смену сколько рухнуло?

Решаются конкретные задачи: как выжить, как не рухнуть в этом бесконечном коловращении бытия. А потом, выжив и не рухнув, ощущаешь все ту же тяжесть необъяснимого выживания.

«Вечная еврейская печаль»...

А у русских — не то же самое? Что-то глубинное. Что-то замораживающее в разгар неугомонного веселья...

Извечная русская тоска, подобная английскому сплину?

Хотя сплин английский — не от павшей ли и на британцев мировой роли?..

Когда славяне из приднепровских степей добрались до финских болот... и круче: когда их повело за Волгу и дальше — за Урал, за их казачьим посвистом уже маячило азиатское безграничье и безграничная же тоска по маячащей недостижимой всемирности.

Достоевский нашёл необходимую формулу: «русская всеотзывчивость».

Выдержать эту роль невозможно без имперского величия. А оно тоже тошнотворно. И это сильно передано через ощущения героя романа Подольского, который в Израиле изумлён средневековым видом его еврейских предтеч, а в России испытывает глубокое разочарование — и от власти, и от народа, эту власть проклинаящего и одновременно принимающего. При всех правителях и под любимыми флагами.

Власть российскую герой Подольского ненавидит. Называет её: «они», иногда однообразно стилистически. К народу отношение сложнее. Стилистически разнообразнее. И интереснее.

«Народ державу сколотил и на плечах, как ребёнка, вынес... И не просто державу — великую, а в доме так и не сумел навести порядок. Этот могучий народ-подкаблучник».

У меня другое отношение к этой проблеме: власть сменить трудно, но можно, сменить народ — невысказано. Но «подкаблучника» готов оценить как яркую стилистическую находку.

Взаимопритяжение русских и евреев — при всех гримасах антисемитизма, всамделишного и притворного — не от интуитивного ли чувства общей роли, от которой невозможно освободиться?

И эта острота контакта:

«Ещё не русские, но уже не евреи...».

«Всё смешанное: русское, еврейское, советское...».

«Кентавр. Да, кентавр. Наполовину русский, наполовину еврей. Русский еврей... Еврей внутри, но не совсем настоящий... Но и русский ненастоящий. А впрочем, что значит быть настоящим русским?».

Любить всех?.. Хорошо бы. Да не получается.

А у русских с евреями — про любовь не будем... но откуда такая готовность к контакту? Не в веках, об этом тоже не будем, — а в этот вот исторический период, который на глазах у нас кончается, — оставляя нам томительное ожидание: что будет дальше?

Подталкивая нас к размышлениям на эту тему, Леонид Подольский начинает свой роман с эпизода, не лишённого сюжетной экстравагантности. Дело происходит в самом начале того исторического периода, который, наконец, за сто лет истёк. Истёк кровью и слезами.

Намечены две фигуры. Оба персонажа входят в число изначальной Красной элиты и носят одинаковые имена и фамилии. Яков Блюмкин. Различаются отчествами. Так что по отчествам и надо их маркировать: один Гершевич, другой Мойшевич.

А судьбы сложились так: Гершевич заделался бесстрашным террористом-исполнителем, угробил германского посла Мирбаха, выполнял ответственные задания разведки, был близок не только к Дзержинскому, но и к Троцкому. В 1929 году расстрелян. По легенде, поставленный энкаведешниками к стенке, успел прокричать: «Да здравствует коммунизм!»

Мойшевич, старый сподвижник Ленина, тоже мог встать к той же стенке. Но чудом в списки не попал и продолжал сотрудничать с советской властью: занялся наукой, сделался профессором. Дожил до войны. Расстрелян в Бабьем Яру...

«Расстрелян в качестве обыкновенного сумасшедшего», — уточняет Подольский. Мы теперь много знаем про Бабий Яр... Но тут скорее рулетка: кого в какую энциклопедию, кого к какой стенке. Тем более тезки-однофамильцы: легко спутать.

Легко спутать?.. Так, может, это недосмотр автора? Нет, извините, зная манеру письма Подольского, я думаю, что тут не недосмотр, а скорее «предусмотр». Так всё предусмотрено в тексте, чтобы этих деятелей легко было спутать. И разница между ними — несущественна, а существенна общая социальная среда, из которой они вербовались.

Эта среда — интеллектуальная богема начала XX века, безудержная и не знавшая, куда девать энергию.

Чем это для них обернулось, Гершевич и Мойшевич узнали оба. Перед смертью. Очень похоже и очень по-разному.

«Мечтательные, близорукие мотыльки и стрекозы устраивали революцию, праздновали, танцевали и пели и не видели ничего вокруг, пока и революцию, и их самих не сожрали могильные черви».

Пока народы, таясь, готовятся к войне (не зная ещё, какой жуткой она окажется), пока в русских сёлах ещё только начинают под бабий вой провожать мобилизованных новобранцев, — в этой безумной среде идёт интеллектуаль-

ная гульба, и перемешаны будущие osobисты всех цветов... от красных до белых... к какой стенке кого из них судьба поставит, самой судьбе неведомо. А пока что...

А пока что Блюмкины ищут выход своей бешеной энергии: их поколению предстоит «потрясти мир и сойти в ими же созданный ад»...

Дальше — пронзительная диагностика:

«Тут не только злая, беспощадная воля Сталина, тут историческая несовместимость старых западников-марксистов, мечтателей, теоретиков, людей позы и фразы, воображавших себя мессиями, много лет проживших за границей, и мрачных, исполнительных, бесчувственных сталинских людей дела; комплексующих интеллигентов, не сумевших вырвать до конца остатки старой буржуазной гуманности, плохо знающих Россию, и новых безжалостных стадных людей, смутно знавших теорию и никогда не читавших Маркса, но зато пропитанных пролетарским сознанием, требовавшим человеческих жертвоприношений во имя неясной, далёкой, но априори высокой цели...»

Жертвоприношения осуществлялись в миллионных масштабах. Это и была жуткая реальность. Цели оставались висеть в запредельности. Это была прекрасная интеллектуальность.

Как же сочетались эти уровни? Как к этим висящим целям относился народ — тот самый, который — «подкаблучник»?

Контакт непредсказуем — а реализуется! Интеллектуалы реально идут в народ. Вот у Подольского замечательное описание контакта:

«Любил вспоминать профессор ссылку в Архангельскую губернию. Но это не ссылка была, не сталинский курорт, а царский рай — с дискуссионным клубом, по очереди в гостях у разных ссыльных, с интрижками, межфракционной борьбой, выпивками, охотой и ночными чтениями Маркса. Там иные из идейных превращались в обыкновенных скотов: пили, сквернословили, дрались с деревенскими, гадили друг другу, спали с местными бабами, делали им детей и сматывались за границу. Революция, которой они служили, всё должна была списать, им всё было можно».

Копится энергия на всех уровнях: и там, где спят с бабами, и там, где читают Маркса, и там, где висят высокие цели, и там, где готовы кричать что-то у стенки.

Вот этот вопрос встанет, наконец, и сегодня. Век Блюмкиных миновал. Мы — на пороге неведомой новой эры. Идеи схлёстываются, авторитеты ставятся вверх ногами, энергия ищет выхода.

Куда она денется, эта ищущая выхода энергия?

Русскую тему оставим до дальнейшего разговора, впрочем, заметим важнейший аспект: при всём отвращении к имперской власти и при всём презрении к народу, который эту власть терпит, необъяснимым образом автор романа испытывает к этому народу — любовь. А если объясняет, то так: выросши в России и восприняв русский язык и культуру с рождения, — он не может отрешиться от этой изначальной связи...

Я думаю, что тут задета важная часть правды: каждый человек получает от судьбы изначальную духовную закваску. Однако не каждый так дорожит ею — иной искатель счастья меняет эту связь на... лучшую. То есть готов отрешиться от своего исконного. Герой Подольского ищет не «лучшее», а истинно своё. И любит Россию — при всём понимании её бесчеловечных черт. Почему? Он русских и Россию жалеет... а потому любит. Это дорогого стоит!

Но тянет-то героя на другой путь. Не на «лучший». А на интуитивно неотступный. Свой. Как висящая ирреальная цель в очередной смутной круговерти... Об этом и идёт речь в романе.

Леонид Подольский написал роман эпический, исторический, лирический, романтический, психологический, с видимыми элементами магического реализма, но ещё и... научный. Автора явно манят бездонные лакуны истории: древняя Русь, древняя Хазария, проблемы русско-еврейского взаимодействия с древнейших времен, наконец, проблемы этногенеза. Леонид Подольский чувствует себя в истории, как рыба в воде, — настолько, что даже бросает виртуальную перчатку Льву Гумилёву. Впрочем, здесь не очень ясно — и у Подольского, и у Гумилева, — где научные концепции переходят в интеллектуальную игру, а где, наоборот, интеллектуальная игра — в научные концепции.

Перед нами — живописное полотно, сотканное, как ковёр, из множества судеб и ярких эпизодов. «Идентичность» — это роман-правда, роман-исповедь, где некогда запретные слова неожиданно обретают магический смысл.